

Ты потом
разберёшь

Регина Верес

Регина Верес

Ты потом разберёшь

<https://litres.ru/74372659>

SelfPub; 2026

Аннотация

Вере 40+. Она массажистка, пятнадцать лет читает людей руками

и уверена, что у неё всё под ладонями. Который день подряд она говорит

человеку, которого почти не знает, — не рассказывает, а перекладывает себя

в него, пока есть время: помада, которой не было; чужая спина; восемь

месяцев в отделении; дочь, которая скоро уедет. Он молчит, и это молчание

она принимает за разрешение.

Повесть-монолог о женщине, которая объясняет себя точно, подробно

и убедительно — и ни разу не попадает.

Содержание

Часть первая. Всё под ладонями	4
Красная помада	4
Колобок не удавался	11
Ладонь не знает	17
Оладушки	23
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Регина Верес

Ты потом разберёшь

Не отвечай сейчас. Я просто складываю сюда.

Часть первая. Всё под ладонями

Красная помада

Руки пахнут маслом, мыла три раза — всё равно пахнут. Миндальное самое липучее, оно въедается в подушечки, и потом весь вечер вокруг меня стоит сладкое облачко, и мне же нравится, а к ночи начинает раздражать, как приторный человек, который никак не уйдёт.

Он ушёл только что. Ходит ко мне с той весны. Плечо всегда правое, и всегда одно и то же место под лопаткой, тугое, как узелок на мокрой верёвке, — он туда что-то складывает годами и не знает об этом. Спина у него честная. Первые минуты держится, врёт, а потом сдаётся и рассказывает всё: и что не спит, и что боится, и что дома у него холодно. Я про него ничего не знаю. Не спрашивала ни разу, мне и не надо, у меня всё под ладонями.

Про твой вопрос — откуда во мне это всё. Я его весь день

гладила и так и смя, он гладкий, не за что зацепиться. И потом ещё полдня переставляла в нём слова, потому что ты спросил как-то короче и точнее, а я уже забыла как. Вот тебе и вся моя хваленая память.

Не знаю, откуда. Расскажу лучше про помаду, помаду я хотя бы раскопала.

Раскопала я её в аптеке. В той огромной, где свет жёсткий, как новая мочалка, скребёт по лицу и всё делает плоским. Я такие места плохо переношу, у меня в них кожа сохнет ещё до кассы. Пришла за своим обычным, стояла в очереди, и вдруг увидела стенд с помадами. И поняла, что у меня никогда в жизни не было красной.

Никогда. Ни одной. Ни в юности, когда все красились чем попало и ходили как ряженые, — я и тогда обходила этот угол стороной, а угол был тёплый, к нему тянуло, я его помню.

И ноготочков красных не было. И ничего облегающего: у меня всё свободное, всё мимо тела, всё, чтобы между мной и тканью оставался воздух. Я до той минуты была уверена, что это просто мой вкус.

Купила лак. Лак дешевле и не такой громкий.

Накрасила вечером, села, смотрю. Руки у меня хорошие, я не кокетничаю, — рабочие, но не изношенные, и на ощупь я себе в них нравлюсь. И вот они лежат на коленках с этими когтями, тяжёленькие, блестящие, чужие. Сажу и жду, когда станет приятно.

Не стало.

К утру я уже не могла на них смотреть. Да не смотреть — я их *чувствовала*, как чувствуешь ярлычок на новой майке. Стёрла в обед, и отпустило сразу, вот прямо в плечах, я даже удивилась, что там держалось.

И тогда села копать.



Первое, что вылезло, — ящик.

Бабушкин, под кроватью. Она всю жизнь ходила в тёмненьком: кофточка тёмненькая, платочек тёмненький, вся она была сухая и тихая, как бумага, которую долго держали в шкафу. А в ящике лежало нарядное. Прохладное, скользкое, с холодком; я его один раз трогала украдкой и помню, какое оно было гладкое под пальцами и какое мёртвое. Оно просто лежало. Годами. Ждало то ли праздника, то ли похорон.

У этого нарядного было своё название, бабушкино, одно слово, и оно не переводится ни на что: в нём слышно сразу и «праздничное», и «не тронь». Я его до сих пор говорю про вещи, которые жалко надеть, и меня переспрашивают.

Она про это говорила поговорку, и я её вечно перевираю — у меня от бабушки в голове одни огрызки, шершавые такие. Что-то вроде: не выставляй, а то сглазят. Или там было не про сглаз, а про то, что хорошее держат в закрытом. Смысл один: видное — забирают.

А второе вылезло позже, и оно было ближе, и оттого противнее.

Мама. Мама говорила ровно наоборот: подкрасься. Ты чего это бледная. Губки поярче, ты же девочка.

Понимаешь, какая штука. Бабушка прятала, мама выстав-ляла — а требование было одно и то же: не сама. Не то, что тебе сегодня надо на кожу, а то, как правильно. И красное тут было не цветом, а обязанностью. Ну я его и не взяла ни разу, а всем говорила, что не люблю.

Годами у меня в шкафу висело чёрное и тёмно-синее, и я объясняла, что мне так удобно. Удобно, да. Оно и правда было удобное — тихое, гладкое, ни за что не цепляется, в нём тебя не видно, а когда тебя не видно, тебя и не трогают.

Белого не было вообще. Ни одной вещички. Я говорила: не люблю, я в нём не я. А оказалось, я в него ни разу не заходила близко, ни разу не брала в руки. Белых ведь целое море, они все разные на ощупь и все разные по холоду: одно как молоко, тёплое, чуть мутное; другое как песок в тени; третье совсем зимнее, звонкое, от него зябко. Пятнадцать лет читаю людей руками — а белого от белого не отличала, потому что близко не подходила.

И вот тут я себя поймала. Я же цвет меряю градусами. Не «нравится — не нравится», а «жжёт — холодит». Я так меряю вообще всё: ткань, комнату, чужой голос, слово в трубке.

У меня полосочка узенькая, вот отсюда и досюда: горячего не пью, жду, пока станет как рука; в душе у меня вода такая,

что нормальный человек скажет — холодно; в баню меня водили один раз, я вышла через минуту и сидела на крыльце, как выброшенная; на солнце не сижу и знаю в городе каждый кусок тени наизусть, где какая и в котором часу. Ледяного тоже не могу — от одной мысли про газировку из холодильника сводит зубы. Всё остальное либо жжёт, либо шок.

Так что линейка у меня короткая, зато с делениями. Цвета попали на ту же линейку — а куда им было деваться.



Губы я не покрасила, если ты ждёшь, что тут будет про это. И, наверное, не покрашу. Я нашла, откуда оно во мне, но само оно не отвалилось, так не бывает, — просто перестало быть законом и стало привычкой. Разница огромная. Закон давит, а привычка так, лежит рядышком.

С цветом зато поменялось. Я теперь по утрам выбираю не вещь, а цвет: стою у шкафа и слушаю, чего мне сегодня надо на кожу. Иногда надо глиняного, чтобы тише. Иногда зелёного — у меня есть одна зелёная, дурацкая совершенно, я в ней как лягушонок, но в ней у меня всё получается, она мягкая и старая, и я в ней сама делаюсь мягче.

И красный появился, между прочим. Не в помаде, в тряпочках. Он оказался не один, их там целая семья, и двое из них тёплые, а от остальных у меня зубы сводит, как от фольги.

И ещё поняла, что мне нравится не открытое, а приоткрытое. Мне нравятся ключицы — там кожа тонкая, там всё близко к поверхности, там человек слышен. Запястье, когда рукав чуть коротковат. Лопатки. Косточка на щиколотке, вот эта, круглая, тёпленькая. Я так и трогаю, кстати: не сразу везде. Сразу везде — это не близость, это обыск.



Ты сейчас скажешь: мелочь. Ну помада, ну лак, ну подумаешь. Я и сама так сказала, когда докопалась: сижу, взрослая тётка, полночи потратила на ерунду.

А только всё сцеплено, всё одним куском, как кожа: тронешь тут, отзовётся там. Дёрнешь за лак — вылезает ящик под кроватью. Дёрнешь за ящик — вылезает, что нарядное берегут. А берегут — это ведь не про платье. Это про себя. Что себя надо приберечь: ты пока подожди, ты потом, ты когда-нибудь, вот будет случай — и тогда уж.

А случай не приходит. Случай не приходит, а кожа тем временем каждый день немножко другая, и никто этого не замечает, кроме тебя самой, потому что ты одна себя и трогаешь.

Всё, звонят в дверь, а у меня кушетка не застелена и масло не согрето.

Масло я грею в ладонях. Не в воде — в воде оно делается горячее, чем надо, и человек вздрагивает. В ладонях дольше,

зато оно выходит ровно моей температуры, и это единственный цвет, который я ношу на себе всю жизнь.

Колобок не удавался

Сегодня один мой стоял над своей бумажкой весь красный и сказал: у меня не получается.

Он это сказал не так, как дети говорят про кубики. Он это сказал так, как взрослые говорят «я больше не буду жить». Целиком, всем собой, окончательно. Он ещё до школы, он ещё букв не знает, у него в руке карандаш — и он уже знает про себя главное: не получается.

Я села рядом на пол, взяла второй карандаш и нарисовала своё. Своё вышло хуже. Он посмотрел, честно оценил, потом взял свою бумажку обратно и стал доделывать. И я потом весь вечер ходила довольная, как дура, а к ночи меня накрыло, потому что он мне открыл банку, которую я полжизни держала закрытой и даже не вспоминала, что она там стоит.

Я не умела рисовать. Совсем не умела, вообще, никак.

У меня колобок не выходил. Вот честно тебе говорю: колобок. Круг, две точки, дуга — и у меня он выходил кривой, косой и стыдный, и я его закрывала ладонью. Тройка по рисованию из милосердия, тройка по черчению из того же. Учительница один раз взяла мой лист двумя пальцами, за уголок, как берут мокрую тряпку, и показала классу. Не со зла. Она думала, что это смешно, и всем правда было смешно, и мне тоже. Я хохотала громче класса. Я вообще всегда успеваю засмеяться первой: если успела — значит, это как

бы я, а не они.

А теперь смешное. В то же самое примерно время я дома паяла.

Не игралась — паяла. У меня был паяльник, у меня была канифоль, и запах у неё, между прочим, лучший запах моего детства, я его до сих пор из тысячи. Я рисовала схемы. Настоящие, по клеточкам, с этими квадратиками и стрелочками, и они работали. Я делала механизмы, которые ездили и щёлкали. Меня к этому никто не приставлял, у нас в доме никто ничего не паял, оно откуда-то само во мне завелось, как заводится плесень в тёплом углу. Я до школы уже понимала, что куда идёт и почему не горит.

То есть руки у меня были. И голова была. И вот эта штука была, самая нужная, когда сидишь над непонятным и тебе от него хорошо, а не страшно.

А колобок не выходил.

И никому — ни одному взрослому за всю мою школу — не пришло в голову сложить эти две вещи вместе и сообразить, что человек, у которого не получается круг, но получается схема, — это, может быть, не бездарь, а просто другое устройство. Им было проще поставить тройку. Тройку ставить быстро.

Читать я начала рано и сразу запоем. Ещё до школы, с фонариком, под одеялом, где душно и пахнет собой, и вот этот кружок света на странице — он у меня перед глазами стоит, как будто вчера. Я читала всё подряд, я читала то, чего мне

было ещё нельзя, я читала взрослое и не понимала половину, и от непонятого мне было ещё интереснее, потому что оно шевелилось.

А потом мне это отбили.

Я не буду рассказывать как, там ничего впечатляющего, никакой драмы: просто много раз подряд взрослые люди объясняли мне, что я читаю не то, и понимаю не так, и рассказываю не про то. Не било, не орало, не наказывало. Спрашивало и морщилось. Спрашивало и морщилось. И один раз довело до слёз — не помню уже до каких именно, помню только, что я стояла и не могла остановиться, а мне говорили: ну что ты, никто тебя не ругает.

И щёлкнуло. Вот прямо щёлкнуло, как выключатель. Я перестала читать. Не «стала меньше» — перестала. На годы. До самого конца школы и ещё долго после.

Тут я тебе должна сказать одну неприятную вещь про себя, и я её скажу, потому что иначе выйдет история про бедную девочку.

Я выкрутилась. Я прекрасно выкрутилась, я даже гордилась.

Я брала краткое содержание — знаешь, эти тощие книжечки, где всё великое ужато до трёх страниц. Я читала три страницы и шла отвечать. И отвечала так, что все сидели тихо. Потому что мне и не нужно было содержание: мне хватало одного абзаца, чтобы почуять, чем этот человек в книжке дышит, где ему тесно, чего он боится и почему он в конце

сделает именно эту глупость. Я могла говорить про него полчаса, и меня слушали, и мне ставили высший балл, и никто ни разу не спросил, читала ли я.

Так что не надо мне про честность. Я всю школу продержалась на чутье и наглости.

Память у меня была страшная. Я и сейчас помню, какие носки были на женщине в очереди позавчера, а зачем мне это — не спрашивай. Внимание к мелочам, быстрая голова, всё схватываю на лету и из воздуха. Вот на этом и выехала. И знаешь, чем за это платят? Тем, что ты потом всю жизнь не умеешь делать усилие. Ты умеешь только вспышку.

При этом оценки у меня были дрянные. Это отдельный анекдот моей жизни. Урок за уроком повторялось одно и то же: класс молчит, никто не знает, учительница обводит всех глазами и говорит — ну скажи им уже, ты же знаешь. Я говорила. Она кивала. И ставила мне в журнал тройку за четверть.

Я долго не могла понять эту арифметику, а теперь понимаю. Балл ставили не за знание. Балл ставили за то, что ты влез в графу. А я в графу не влезала — не из вредности, я честно старалась, я очень старалась влезть, — просто меня было чуть больше и чуть в другую сторону, и утрамбовать это внутрь никому не удавалось, включая меня саму.

Что я другая, я знала всегда.

Именно знала, а не понимала, — понимать там нечего было, я же не с чем-то сравнивала, у меня не было второй меня.

Просто с самого начала стояло ощущение, что все в комнате играют по одним правилам, а мне эти правила никто не выдал, и я их подсматриваю и повторяю с опозданием на полтакта.

И я мимикрировала. Всю дорогу мимикрировала, старательно, как насекомое. Смотрела, что делают, и делала так же. Смеялась, когда все. Молчала, когда все.

Мне недавно институтская подруга сказала — мы не делились сто лет, сидели, вспоминали, — сказала так: слушай, а ведь у тебя вроде получалось. Ты вроде была со всеми. Только всё время было ощущение, что ты не на своём месте и с трудом туда впикиваешься. И в конце концов взрываешься.

Вот на «впикиваешься» я и села.

Она это увидела тогда, девчонкой, и молчала об этом все эти годы, и сказала мне между чаем и пирогом, и даже не заметила, что сказала.

Папа был такой же.

Я это долго не видела, потому что дети не видят родителей, дети видят функцию: вот тот, кто приходит вечером. А теперь смотрю назад и вижу человека, который тоже никуда не влезал, тоже был чуть больше своей графы и тоже всю жизнь потихонечку впикивался. Он был очень умный и очень тихий, и на работе его не любили. И он каждый день, всю жизнь, как заведённый, смотрел мне в глаза и спрашивал про настроение. Может, он просто знал, куда смотреть, потому что смотрел на своё.

Читать я так и не начала обратно.

То есть начала, конечно, потом, много позже, было несколько хороших лет — а теперь опять не могу, уже несколько лет подряд. Профессиональное читаю сколько угодно, там надо и там понятно зачем. А книгу открою — и через полстраницы обнаруживаю, что глаза едут по строчкам, а внутри пусто, ни одного человека, ни одной комнаты. И удовольствия нет, а без удовольствия зачем.

Я злилась на это, потом сердилась, потом грустила, потом перестала. Одну хочу перечитать. Давнюю, там всё начинается на жаре и с разговора двух дураков. Дочка её недавно взяла сразу на двух языках, слушала и сличала, ходила довольная. И мне тоже захотелось.

Три раза открывала. Три раза откладывала.

А фонарик у меня до сих пор лежит в тумбочке. Тот, конечно, давно потерялся, но всегда какой-нибудь лежит: я их покупаю, когда вижу, рука сама тянется, и потом удивляюсь, откуда у меня их четыре.

Батарейки в нём сели, я знаю, что сели.

Я их не меняю.

Ладонь не знает

Закончила в первом часу, руки ещё гудят. Не устали — гудят. Устали — это когда тяжёлые и тупые. А гудят — когда полные и не могут остановиться, и ты сидишь на кухне, положив их на стол, как две чужие вещи, и ждёшь, пока отпустит.

Ты про кабинет спрашивал, а я тогда отшутилась. Сейчас попробую честно, только имей в виду, что честно у меня получится длинно.

Все воображают невесть что. Комната у меня обыкновенная: кушетка, купленная в рассрочку и до сих пор самая дорогая вещь в доме; я её выбирала полгода, я под неё людей подгоняла в магазине и ложилась сама. Доплачивала за неё, кстати, полтора года, и последние месяцы уже стеснялась, что она у меня в комнате стоит как чужая. Стул — тоже отдельная история, потому что мне нельзя стоять весь сеанс на двух ногах ровно, я всё равно съезжаю на одну, у меня так устроено; так что стул нужен такой, чтобы можно было сесть в любую секунду и не разорвать при этом ткань разговора. Простыни свои, стиранные до мягкости. Масло в бутылке с носиком, и рядом полотенце, которое я держу на батарее даже летом.

И жалюзи. Свет у меня всегда приглушённый: и потому что так человеку легче, и потому что мне самой яркое режет.

Ещё резинка. Обыкновенная, у меня на запястье, и оттуда она не снимается. Я её придумала старшей, когда та была маленькая и всё время уплывала посреди дела: щёлкнула — и вернулась. Потом надела себе, чтоб было одинаково, да так и хожу.

Пахнет маслом и морем. Море тут везде пахнет, даже когда его не видно, — оно у нас лежит внизу под всеми улицами, и все улицы к нему наклонены. Я это знаю ногами лучше, чем глазами: вниз я иду легко, а вверх у меня одна нога считает шаги, а вторая жульничает.

Вот и вся моя воздушная обстановка.

*

Когда я кладу ладонь человеку на спину, я в первую секунду не знаю про него ничего. Ни кто он, ни какой, ни что у него за жизнь. И эта первая секунда самая честная, потому что рука узнаёт раньше, чем голова успевает доложить, кто перед тобой.

Рука узнаёт: тёплый или холодный. Дышит или держит. Пустил или сделал вид, что пустил, а сам весь стянулся, и под кожей у него как натянутый брезент. Живой или заброшенный — есть такие тела, честное слово, будто в них давно никто не заходил, всё прибрано и мёртво, как в квартире после отъезда.

И только потом подключается голова и сообщает: это

мужчина. Или: это женщина. Или: это тот-то, у него имя и профессия. А ладонь этого не знала. Она узнала только, какой он.

Мне поэтому смешно, когда меня спрашивают, к кому меня тянет. К тем, у кого внутри есть чем откликнуться. Оно у мужчин бывает и у женщин бывает, и руке всё равно, а мне интересно и тут и там, и я не понимаю, почему из этого надо делать отдельный разговор с серьёзным лицом. Ну вот такая я неудобная. Дальше рассказывать?

*

Кого я не подпускаю.

Мне хватает трёх секунд. Никакой мистики, обыкновенное ремесло, как у портного глазомер. Рука человека говорит про него всё сразу, как почерк. Есть ладонь, которая ложится и остаётся: тяжёленькая, спокойная, ей от тебя ничего не надо. А есть ладонь, которая начинает *ехать*. Медленно, культурно, будто случайно. И всё, дальше можно не разговаривать: он пришёл не сюда.

Таких я убираю сразу и без объяснений. Мне потом говорят: ну ты чего, он же ничего такого. Он всё такое, дорогие мои. Просто вы читаете лицо, а я читаю руку, и рука не врёт никогда.

Один раз соврала.

Дядька, лет под шестьдесят, и рука у него легла так, что

я внутренне закрылась вся, до пяток. Я отработала холодно, быстро, и больше его не записала, сказала, что расписание плотное. А через полгода узнала случайно, от общих: у него была неподвижная кисть после инсульта, и он её клал, как мог. Он не ехал. Он не удерживал.

Я потом долго прикидывала, как бы это исправить, и ничего не придумала, потому что исправлять нечего: он ведь не обиделся, он ничего не заметил, у меня же расписание плотное. Так что это осталось целиком со мной, и правильно.

Был у меня один, ходил долго. Приличный, тихий, с плохой шеей и хорошими манерами. И вот он лежит и рассказывает, и я слышу, как у него голос делается на полтона ниже к концу сеанса, и как он на слове «спасибо» задерживает воздух. И рука у него потихонечку начинает жить своей жизнью — не тянется ко мне, ничего такого, просто она перестаёт быть спокойной. Я ему сказала, что записи больше не будет. Он ничего не понял и обиделся, и я не стала объяснять, потому что объяснять тут — значит назвать вслух то, чего он сам про себя ещё не знает, а это не моё дело.

И ещё. У меня ничего не включается без доверия. Совсем ничего, ноль, пустое место, хоть ты меня озолоти и хоть какой красавец. Мне надо сначала знать, что человек не сделает мне резко.



Меня саму никто не трогает.

Я держу спины целый день. Я знаю про людей такое, чего не знают их жёны: где у кого узел, кто плачет молча, у кого затылок ледяной от страха. У меня рабочий день целиком состоит из прикосновений.

А ко мне подходят по делу. Обнять на прощание не в счёт: вежливость короткая, в неё ничего не помещается.

Иногда, редко, кто-нибудь кладёт мне руку на спину просто так, ни за чем, — и у меня в горле встаёт ком, и я потом час не могу успокоиться от того, что меня, оказывается, можно потрогать бесплатно.

Мне и попросить нельзя. То есть можно, конечно, кто мне запретит. Но у попрошенного вкус другой: я его сама себе устроила, а нужно, чтобы само.

Поэтому я иногда уезжаю. На несколько дней, одна. Возвращаюсь размягчённая, ты, наверное, слышишь по голосу.



Ах да, ещё привычка. Ты её заметил на второй день и называл — ты написал, что я всё время объявляю расписание. Я тогда обиделась, я даже не сразу поняла, на что, а потом

сообразила: на слово «расписание». Оно про поезда.

Но заметил ты верно.

Я всегда говорю вперёд, что сейчас сделаю. Сейчас поверну руку. Сейчас будет чуть прохладно. Сейчас положу ладонь на поясницу.

Мне за это делали комплименты — какая, мол, бережная. Да не бережная я, у меня просто так устроено, я иначе не умею и уже не научусь. Человека нельзя трогать внезапно. Внезапная рука — это про то, что тебя тут застали.

*

Все ушли, и я осталась убирать.

Сняла простыню, застелила свежую, зачем-то, ведь до завтра никто не придёт. Потом выключила верхний свет, легла на свою же кушетку и полежала.

Она под чужими тёплая, а подо мной холодная, потому что я ложусь и сразу начинаю мёрзнуть, у меня всегда так: я грею других быстрее, чем себя.

Полежала, посчитала, сколько раз щёлкнул холодильник. Потом встала — в два приёма, держась за край, — и пошла ставить воду.

Оладушки

Я захожу — и мне из-за двери: оладушки-и-и.

Не «здравствуйте», не «привет». Оладушки. Хором, вразнобой, с разной степенью внятности, и один обязательно опаздывает и кричит уже в тишину, когда все замолчали.

Так меня и зовут теперь. Не сопротивляюсь, мне даже нравится: тёплое имя, круглое, пахнет.

Началось с теста. Мы там печём, и это отдельная история, и она вообще не про еду. Тесто — лучшее, что придумано, я тебе серьёзно: оно живое, оно отвечает. Давишь — поддаётся, но не совсем; отпустишь — потихонечку возвращается. Оно тёплое от твоих же рук, и оно прощает.

А потом оно ещё шкворчит и пахнет на весь этаж, и получается праздник, которого никто не назначал.

У меня там весь шкафчик забит непонятно чем, уборщица давно махнула рукой.

Мешочек с манкой — в неё зарываешься по локоть, она сыпучая и прохладная. Мешочек с фасолью — тяжёленький, стучит. Кусок овчины, старой, лысоватой, у неё запах, и половина детей его не выносит, а половина прижимается щекой и замирает. Камушки с моря, гладкие. Бархат, наждачка, фольга, миска со льдом, если день совсем горячий. И собака, живая, приходит по вторникам с хозяйкой, и это отдельный аттракцион.

Не для развития мелкой моторики. Ты это выражение забудь, оно мне уши режет.

Для того, чтобы у ребёнка в теле осталась зарубка: вот это было — и было хорошо. Чтобы кожа помнила не только резкое и не только страшное. Тело ведь помнит всё, оно ничего не выбрасывает, и если у человека в этой копилке одни неприятности, он вырастет и будет всю жизнь сжиматься от чужой руки, не понимая почему.

Я им кладу туда хорошее. Впрок.

*

Они все разные, и в этом весь фокус.

Есть у меня одна, которой шов на футболке — мука. Ярлычки она отгрызает, ветер по щеке терпит, как наждак, и ей всю жизнь говорят: не выдумывай. Она не выдумывает. Ей правда громко.

А есть другой, который ходит и врезается в углы. Его за это ругают больше всех в группе, а ему просто нужно посильнее, чтобы понять, где он заканчивается. Я его заворачиваю в одеяло потуже и держу, и он выдыхает и делается человеком.

Моя старшая — из тех, кому громко. Летом ходит закрытая, вся, до запястий, и это не про стеснение, ей физически неприятно. Я поняла не сразу и успела наговорить ей глупостей вроде «да жарко же». Так что я тут не с высоты. Всё, что знаю, знаю потому, что где-то уже успела натоптать.

Был у меня мальчик, который вообще никого не подпускал.

Не боялся — брезговал, если по-честному; у него делалось такое лицо, как будто ему протянули мокрую тряпку. Ни за руку, ни причесать, ни куртку застегнуть. И взрослые вокруг стояли со своими вытянутыми руками, обиженные.

Я его не трогала. Вообще не трогала, дольше, чем все терпели: мне говорили — ну сделай уже что-нибудь, ты же за этим. А я сидела рядом на полу, с манкой, с камушками, сама с собой. Сидеть на полу мне нельзя, я потом поднимаюсь долго и держусь за шкаф, и весь день после этого одна сторона тянет, но я сидела.

И вот однажды он проходит мимо и коротенько, на секунду, трогает мой рукав. Не меня. Рукав.

Я даже головы не повернула. У меня в тот момент по всей спине пошло, до затылка, и я сидела с каменным лицом и пересыпала свою манку, потому что если бы обернулась и обрадовалась — всё бы кончилось.

Через сколько-то он стал класть ладошку мне на плечо сзади. Всегда сзади, всегда со спины: ему так было можно.

Вот это моя работа. Не оладушки.

*

Насчёт «работы», кстати, я всегда спотыкаюсь.

Мне говорят: тяжело же с ними целый день, да ещё с таки-

ми. Тяжело. Ноги к вечеру не мои, стою я криво, стульчики у нас на детский рост, ведро с водой я теперь прошу поднять кого-нибудь, потому что взрослая девочка научилась не героизмовать. Обувь я выбираю дольше, чем люди выбирают квартиру, и это тоже про то же самое, только я тебе про это в другой раз.

Но словом «работа» у меня язык не поворачивается. Работа — это когда ты что-то отдал и тебе за это заплатили. А тут родители отдают мне утром своего человека, целиком, и до вечера он мой.

Меня, кстати, регулярно просят посмотреть. По-дружески, мимоходом: у знакомых мальчик, глянь одним глазом, скажи, что думаешь. Я не гляжу. Одним глазом я не умею: чтобы сказать про ребёнка хоть что-нибудь, смотреть надо не минуту и не в гостях. А поиграть с ним и накормить — это сколько угодно, и это совсем другое дело.

С праздниками у меня отдельное хулиганство. Когда группа заваливается — а она заваливается, у детей это видно сразу, они делаются тусклые и как-то все врозь, — я объявляю праздник. Какой? Да любой. День круглых вещей. День варенья. День, когда все ходят задом наперёд.

Печём, втыкаю свечки. Свечки — гениальное изобретение: маленький живой огонь, все замолкают и смотрят, у всех лица снизу подсвечены, и в комнате на минуту делается тихо и тепло, как под одеялом.

Мне за это доставалось. Приходили и спрашивали, что за

самодетельность, по какому поводу. По никакому. Ребёнку тревожно, а тревога — она в животе, её словами не выковыряешь, надо через другое. Через тёплое, через сладкое, через огонёк, через «все вместе смотрим в одну точку».

Обычно потом соглашаются. Не всегда.

Одна мать не согласилась. Забрала девочку в тот же день. Сказала, что у них дома это нельзя — свечи, огонь, и вообще они так не отмечают, и что я могла бы спросить. Я стояла и объясняла ей, какая это ерунда, что это не про праздник, что это про то, чтобы все замолчали и посмотрели в одну точку.

Она меня выслушала. Очень вежливо. И увела ребёнка.

Я потом недели две носила это в себе и складывала оправдания одно на другое, а потом кто-то — не она, посторонний совсем — сказал мне мимоходом одну вещь. Что я не спросила. Просто не спросила, и всё. Я, которая никого не трогает без предупреждения, залезла к ребёнку в дом со своим огоньком, не постучавшись.

И вот с этим я до сих пор не разобралась. Потому что я и сейчас считаю, что девочке было бы лучше со свечкой. И одновременно знаю, что мать была права. Оба знания лежат во мне рядом, не мешают друг другу и не мирятся.

*

Чему я у них учусь — раз уж ты всё равно спросишь.

Они не притворяются. Совсем. Если ребёнку с тобой плохо, он не станет улыбаться из вежливости, он просто отойдёт. И если хорошо — тоже сразу, целиком, всем телом: они не умеют любить наполовину, у них нет такой опции.

И ещё они мгновенно перестраиваются. Взрослый будет неделю доказывать, что он прав, и зарабатывает себе спазм между лопаток. Ребёнок — реветь навзрыд, а через минуту хохотать, и в теле у него ничего не осталось. Чистенько.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.